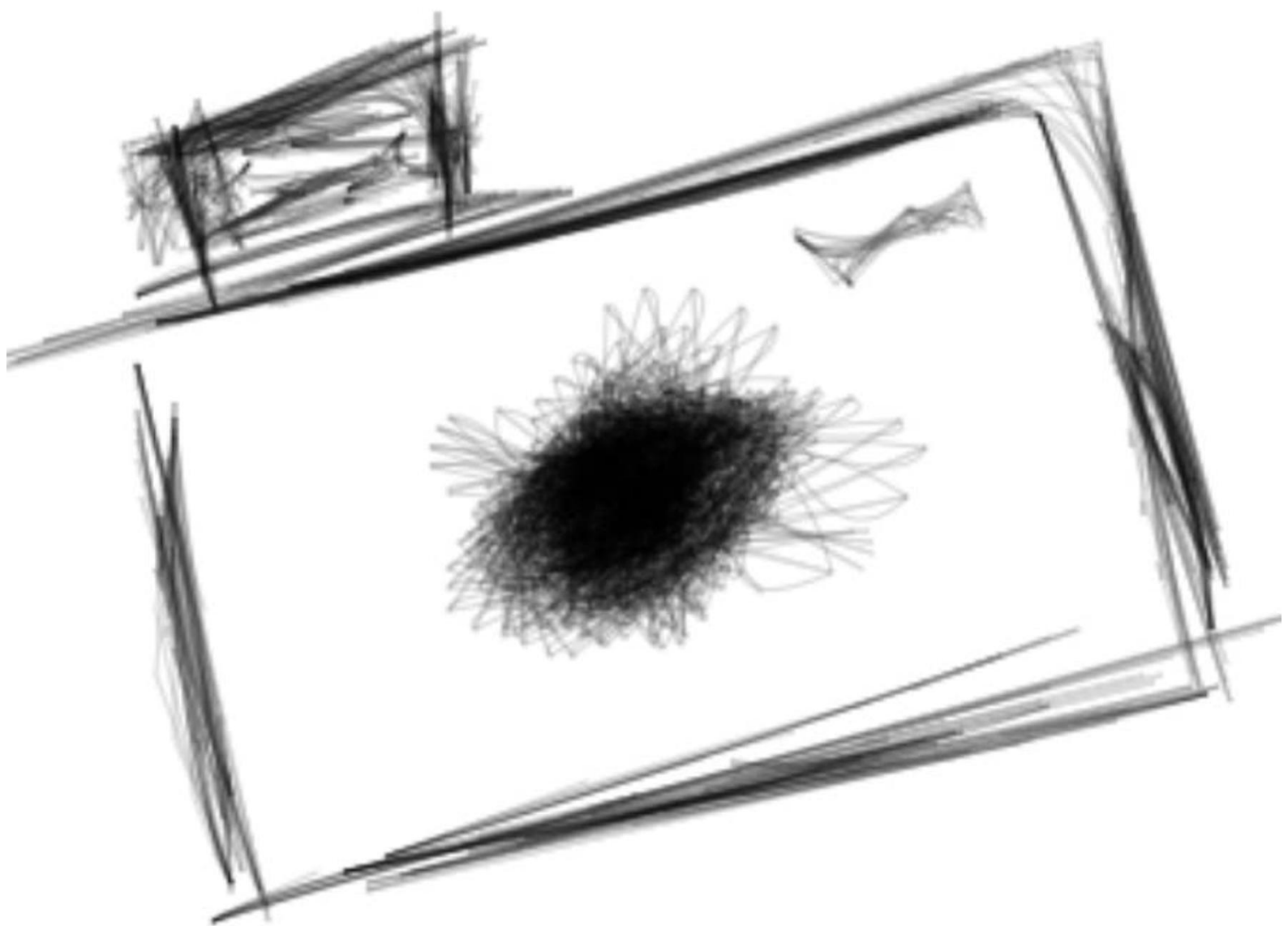


Глеб Тур

Стоп-кадр



Глеб Тур

Стоп-кадр

«Автор»

2026

Тур Г.

Стоп-кадр / Г. Тур — «Автор», 2026

Евсений Павлович - старый фотограф, который давно уже не живёт, а наблюдает. Он снимает мир через объектив «Зенита», чтобы не прикасаться к нему. Его жена ушла. Дети забыли. В квартире тишина. Однажды осенним вечером он находит в парке девочку, которая не говорит. У неё в руке - мелок. На листке - дом вверх ногами и птица с человеческим лицом. Он приведёт её к себе, даст чай с вареньем и старый клетчатый плед. А потом всё изменится. «Стоп-кадр» - это трагикомедия о том, как два одиночества находят друг друга. О том, что стать отцом можно в семьдесят лет. О том, что некоторые вещи видны только без камеры. У книги нумерации нет. Потому что память не нумеруется. Мы не помним жизнь по порядку. Мы помним её кадрами. Вспышками. Моментами, которые проявляются, как плёнка в красной темноте. Эта книга - не хроника. Это фотоальбом. В фотоальбомах не ставят номера. Туда просто смотрят. Иногда возвращаются к одному и тому же снимку. Иногда пропускают. Иногда - замирают.

© Тур Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Старик и тишина.	6
Глава 2. Квартира, в которой остановилось время.	9
Глава 3. Портрет на стене.	13
Глава 4. Дверь открывается.	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Глеб Тур

Стоп-кадр

Стоп-кадр

Трагикомедия одного кадра

Глеб Тур

Оглавление

Глава 1. Старик и тишина

Глава 2. Квартира, где остановилось время

Глава 3. Портрет на стене

Глава 4. Дверь открывается

Глава 5. Незванный гость

Глава 6. Завтрак и его последствия

Глава 7. Мел громче слов

Глава 8. Закон в лице участкового

Часть вторая. Выдержка

Глава 9. Косички и прочие сложности

Глава 10. Соседи проявляют интерес

Глава 11. То, чего не слышали шесть лет

Глава 12. Мать – это не всегда про любовь

Глава 13. Двое молчат по-новому

Глава 14. Плёнка, которую пора проявить

Часть третья. Кадр

Глава 15. Всё меняется, хотя ничего не происходит

Глава 16. Рисунок говорит больше слов

Глава 17. Старик смотрит без камеры

Глава 18. История кончается, они – нет

Эпилог. Без единого слова

Глава 1. Старик и тишина.

Осень, в это время года природа настраивается к зиме, жизнь ощущается более серой, но в душе ты всегда знаешь, скоро новый год – это праздник, это то что собирает семью за большим столом и воссоединяет людей. В такое время года хочется сидеть дома, не выходить на улицу, укутаться пледом и сидеть хлебать чай с лимоном, или вареньем, кому как по душе.

Евсений Павлович это человек у которого возраст уже приближается к Господу, а давление скачет резче всяких курсов. Он работает уборщиком в местной столовой, но в свободное время увлекается своим фотоаппаратом, который он каждый день, ни то это дальняя поездка, в которую он его берет с собой, ни то очередное собрание стариков на лавочке, или вообще на день рождения близкого, он всегда за ним ухаживает, даже на работе, когда выпадает свободное время после законченного этажа, или выкуренной сигареты, он берёт фотоаппарат и тратит плёнки на всё что окружает его, сегодня это повидавший жизни рыжий кот, банка из под спиртного которую муравьи приватизировали себе, небо закрытое серыми тучами, и деревья, которые окружают весь посёлок в котором он уже живёт около десяти лет.

Надевает свой любимый поношенный сшитый матерью свитер, хлопковые брюки, кроссовки на липучках или просторные кожаные туфли, блеск которых ушел вслед за волосами. Питается как и все представители его возраста, крупы, супы, хлеб с чаем или чай с хлебом, последнее он любит больше всего, по совету стоматолога из поликлиники.

На часах время без десяти шесть, за окном вечереет, небо становится темнее и мир потихоньку погружается в сон, а Евсений Павлович повесил ключи на крючок в подсобке и начал собирать свою сумку. Подсобка в этом заведении представляла из себя гроб два на два метра, в котором всё пропахло мясом а на стене красуется календарь, отстающий на пару лет и закрывающий собой дырку в пвх – панели и пожелтевшую брошюру о технике безопасности. Вдруг, входная дверь открылась, со скрипом.

– Павлович, чего сегодня у тебя интересного? – дошёл до его слухового аппарата голос близкого товарища, второй повар Виктор – Ты уж запарил уходить пораньше. Тебе как будто деньги за переработку не нужны.

Евсений взял сумку в левую руку, а правую засунул в карман, достав пачку “Camel”, выдохнул носом, полный мокротой и свободой, впереди как – никак два выходных.

– Да заливай, Вить. Какие деньги когда матч седня? – произнёс с привычной хрипотой Евсений, придерживая губами сигарету.

– Да ты чо! – Сказал Виктор, прикрыв рот рукой и смотря на своего товарища глазами, полные горя – А я же забыл, голова моя дырявая! А кто играет?

– Кхм – Вырвалось у Павловича изо рта, когда табак в очередной раз дошёл до его гор-тани, а дешёвая пластмассовая зажигалка, горячая сверху, полетела в привычный карман – Да Спартак с Долгопрудными.

– А-а-ай!! – протяжно завыл Виктор, от горя прикрывая рот руками – Ну как я мог забыть! Ах зачем я просился на подольше, зачем!

– Ну, удачи тебе поварёнок, я расскажу как прошла игра – сказал Павлович переступая потрескавшийся деревянный порог, направляясь к выходу.

– Да всё равно на втором тайме продуют – последнее что слышал Евсений, закрывая дверь.

На часах стрелки двигаются к девятому часу, а наш персонаж медленно, следуя движению машин направлялся к себе домой. И в этот миг, когда слева от него бушует поток автомобилей, у каждого из которых своя судьба, своя семья, своя история, а справа же находится начало леса, который переделали под парк, кроны высоченных, сильных и повидавших жизнь сосен стремились к верх, и у каждого дерева тоже была и своя судьба и своя история, но не та, что ждёт автомобилистов, вряд-ли птицы сделают своё гнездо на крыше “Москвича”, а дятел будет стучать по стеклу “Бентли”. Именно в парк решил направиться Павлович, посмотрев на время на наручных часах фирмы “Союз”, которых тоже он не забывает протирать или оставить их дома.

– До матча ещё далеко, может, я успею сделать пару снимков – сказав это, он вошёл в еле освещённую тьму парка, в которой можно было спрятаться от пугающего этого старика внешнего, громкого мира.

Евсений шёл, а шум города стихал, сливаясь сначала с ночной тишиной, шелеста листвы под ногами, и наконец – любимой нашего героя тишиной. Он вышел по тропинке на открытую местность, подошёл к ближайшей лавочке, смахнул с него листву и с тяжким выдохом, в котором сошлись и тягость, он вдохнул полную грудь, своим сопливым носом, чистого воздуха, пока ещё не совсем тронутой природы. Он мог бы просидеть так, смотря на красивый полумесяц и две одинокие звезды, которые друг-от-друга расположены далеко, но знакомый стук тросточки, которая тихо, но приближалась в его сторону. Антонина Захаровна – местный божий одуванчик, каких в каждом посёлке по штуке. Лет под восемьдесят, сама лёгкая, почти прозрачная, будто сквозняк. Ходит в одном и том же сером платке, заколотом булавкой у горла, и в пальто, которое помнит ещё советские очереди. Глаза блёклые, но тёплые – смотрит на всех как на заблудших, но не осуждает, а жалеет. Каждое воскресенье печёт пирожки и несёт в церковь – кормить батюшку и прихожан, потому что “Господь велел делиться”. Дома у неё целый угол с иконами, лампадка горит круглые сутки, а на тумбочке – молитвослов, зачитанный до дыр. Молится каждый день: за соседей, за пьющего племянника, за страну, за погоду. Искренне верит, что Бог всё управит, – и не замечает, что жизнь её не меняется годами. Не потому что Бог не слышит, а потому что сама она ничего не делает, чтобы что-то изменить. Ждёт. Терпит. Упывает. Это у неё называется “смирение”. Остальные называют “привычка”.

– Чего не спится, Евсений Павлович? – послышался мягкий, тоненький и протяжный голос Антонины Захаровны, которая шла с авоськой с другой, не менее плохо освещённой стороны парка – седня ж матч вами всеми любимый!

Евсений плавно повернул голову в её сторону, и ответил:

– Да вот, вышел на ясное небо поглазеть, от города убежал.

Она плюхнулась на лавку, положила трость между своих ног, и на трость повесила свои руки, пропахшие церковью и выпечкой.

– А вы всё города боитесь, не так ли? – спросила она, взглядываясь в тёмное небо.

– Э-эх, да если – бы боялся, то уехал бы отсюда куда глаза глядят. Я не города боюсь, а того что с посёлком стало. Раньше же, когда я маленьким шкетом был, посёлок наш был просторней, людей было меньше да и машин.

– Ну заливайте, раньше-раньше. Раньше и хлеб стоил по 15 копеек, и чего с того? Молодняк прёт, посёлок уже таковым не кличут, теперь он ПДД сокращённо.

– ПГТ - вообще-то - Поправил её Евсений.

– Да бог с ним две буквы перепутала. Ну бог с ним, хватит спорить. Я вам тут, пирожки напекла – сказала та, и полезла в свою авоську – где-же, где-же вы мои хорошенькие, а, вот! – торжественно сказала она и вытащила полиэтиленовый пакет, мокрый от масла и через который видно два пирожка, укутанные туалетной бумагой. Она протянула их ему, своими трясу-щимися руками.

– Вот, только сегодня испекла. Сам Иларион сказал что вкуснее пирожки только в пекарне Московской при Кремле! – эти похвалы каждый день меняются, и кажется, что скоро сам Дональд Трамп скажет что пирожки у Антонины лучше всякой нефти.

– Спасибо. – сказал Евсений, взяв еду, и держа его в одной руке, левой полез в карман, за сигаретами. Антонина думала что и ей подарок взаимный причитается, но нет, Евсений опять верблюда достал.

– Да хватит вам! Сами говорите, воздух чище тут, воздух чище тут! А сами, мм? Каждый божий день эту дрянь курите, вы БЕСА ТАК КОРМИТЕ!

Лавочка тряслась ещё минуту, под весом старушки, которая бешено на ней вертелась, но потом с крика, перешла на разговоры. Деменция, что ещё сказать.

– .. даже если вспомнить моего Витеньку, мы с ним бок о бок прожили дватцать с лишним лет. и как думаете. от чего слёг он раньше меня?

Евсений стряхнул пепел с сигареты, посмотрел на неё, будто не знал правильный ответ на этот вопрос.

– Часом не от сигарет?

– Именно! – радостно сказала она – А я ведь говорила ему, пожалей себя, не кури ты это. Ну что же поделать. О-ох. Бросайте курение, я серьёзно.

– Подумаю ещё – сказал Евсений.

Спустя минуту тишины, когда оба старика смотрели в звёздное небо, Евсений встал, взял свои вещи, и пирожки, помог ей встать с лавочки, и оба разошлись в разные части парка.

Глава 2. Квартира, в которой остановилось время.

Входная тоненькая дверь квартиры под номером 15 тяжело открылась – петли давно просили масла, но у Евсения руки не доходили, а может, просто привык. В лицо ударил знакомый запах: смесь старой бумаги, табака и химии от проявителя – так пахнет жильё человека, который давно живёт один и не ждёт гостей.

В прихожей – тесно, но чисто. Вешалка на два крючка: на одном пальто, на втором – старая кепка, которую он не носит, но выбросить жалко. Под ногами половик, протёртый ровно посередине – там, где он каждый день разувается. На стене, прямо напротив входа, портрет Любы. Чёрно-белый, снятый им самим лет двадцать назад: она сидит за кухонным столом, в руке чашка, взгляд куда-то вбок, будто заметила что-то за окном и вот-вот улыбнётся. Под портретом – маленькая полочка, на ней засохший цветок в пузырьке из-под лекарства.

Евсений, не включая свет, по привычке кивнул портрету, снял обувь и прошёл на кухню. Там всё как всегда: стол, покрытый клеёнкой в цветочек, два стула, старенький холодильник, который гудит так, будто вот-вот взлетит, и полка с посудой – три тарелки, две кружки, одна с трещиной, но ещё живая. На плите – чайник. Он щёлкнул кнопкой, чайник зашумел, и в этом шуме растворилась ночная тишина. Пирожки Антонины он положил на стол, достал из шкафа банку с вареньем, отломил кусок хлеба. Налил чай – без сахара, как всегда. Сел. Откусил пирожок. Капуста. Или картошка – не разобрать, но вкусно. Антонина своё дело знала.

Он жевал, смотрел в стену, потом перевёл взгляд на телефон – старенький дисковый аппарат, который стоял на подоконнике. Сам аппарат был в пыли, но трубка – идеально чистая, протёртая до блеска, будто кто-то брал её в руки чаще, чем можно было предположить. Номер Любы он помнил наизусть, да и как забыть – цифры "3" и "7" на диске почти стёрлись, только по белому следу и можно было угадать, куда он крутил чаще всего. Набирал редко, но метко.

Вытер руки о штаны, пододвинул телефон к себе, покрутил диск – сначала один раз, потом второй. Замер. В трубке пошли гудки. Длинные, ровные, спокойные – не то что у него внутри.

– Алло, – раздался на том конце женский голос. Сухой, ровный, без радости. Люба.

– Это я, – сказал он, будто она могла не узнать.

– Я слышу. Чего хотел, Евсений? – она всегда называла его полным именем, когда была не в духе. А в духе она не была с тех пор, как он вернулся с вахты и обнаружил пустой шкаф.

– Да ничего. Просто сидел, чай пью. Подумал, дай позвоню. Узнать как ты.

– Нормально. Работаю. Болею иногда. Возраст.

– А дети? – он запнулся, но договорил. – Как Ленка? Серёжа?

На том конце – пауза. Он представил, как она сейчас сидит в их бывшей квартире, прижав трубку плечом к уху, и лицо у неё такое же, как на портрете – только старше и без намёка на улыбку.

– У Ленки сокращение на работе. Переживает. Но Костя пока тянет, на двух ставках. Внук в первый класс пошёл, фотографию присылала. А Серёжа... Серёжа всё так же. Молчит. Ты же знаешь.

– Знаю, – сказал он тихо. – Ты это... если что надо – ты скажи. Я помогу.

– Что ж ты раньше не помогал, когда помощь нужна была? – в её голосе не было злости. Только холод. Усталый холод женщины, которая когда-то ждала, а потом перестала.

Он промолчал. Потому что ответа у него не было.

– Ладно, Евсений. Поздно уже. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Люба.

Короткие гудки. Он положил трубку на рычаг, провёл пальцем по стёртым цифрам "3" и "7", допил холодный чай и ещё долго сидел, глядя не в стену – в никуда. Потом встал, подошёл к портрету в прихожей, поправил пузырёк с цветком и сказал в темноту:

– Ну вот. Поговорили.

За окном – ночь. За стеной – тишина. В квартире – только он и фотография женщины, которая когда-то ждала его с вахты, а потом перестала.

Утро наступило без будильника – Евсений проснулся по привычке в половине седьмого, просто потому что организм не знал, что такое выходной. Полежал немного, глядя в потолок с трещиной, которая шла от люстры к углу и напоминала карту какой-то несуществующей реки. Река эта, как и его жизнь, никуда не текла, но хотя бы не протекала – и на том спасибо. За окном моросил дождь – мелкий, осенний, противный. Но к десяти, когда он наконец поднялся, умылся и допил вчерашний чай, тучи разошлись, и небо стало серо-голубым, будто кто-то протёр его мокрой тряпкой.

Выходной. Два выходных. Можно никуда не спешить.

Он надел свитер, те самые хлопковые брюки с пузырями на коленях, кроссовки на липучках, взял фотоаппарат и вышел. Утро уже перевалило за середину, воздух был сырым и холодным, пахло мокрой корой и прелыми листьями. Народу в парке – никого. Только он и лес.

Шёл медленно, вдыхая носом – тем самым, сопливым, – и останавливался там, где глаз цеплялся за что-то живое. Вот ворона сидит на ветке, мокрая и злая, смотрит на него одним глазом – щёлк. Вот лужа, в которой отражается небо и голые ветки – щёлк. Вот старая скамейка, покосившаяся, с облупившейся краской, и на ней одинокий жёлтый лист, будто специально кто-то положил – щёлк. Он увлёкся. Про матч вспомнил только к вечеру, когда уже начало темнеть, и даже не стал включать телевизор – какой смысл, если всё уже прошло. "Спартак" с "Долгопрудными" – можно было и не смотреть, исход известен заранее. Либо продули, либо чудом не продули. Виктор завтра расскажет в красках, с причитаниями и слюной.

День пролетел незаметно. Вернулся домой, перекусил тем же, чем вчера – хлеб, чай, остатки Антониного пирожка, – и снова вышел, уже в сумерках, просто подышать. Парк встретил его тишиной и первыми каплями нового дождя. Дошёл до знакомой лавочки, той самой, где вчера сидел. И, будто по заказу, услышал знакомый стук тросточки. "Ну всё, – подумал он, – сейчас опять про беса будет".

– Ну что, Павлович, опять полумесяц? – Антонина Захаровна возникла из темноты, как привидение в сером платке. В авоське опять что-то позвякивало, на этот раз – не банки, а что-то стеклянное. – А я вот с дежурства, из церкви. Свечи меняла, полы мыла. Господь труд любит.

– Добрый вечер, Антонина Захаровна, – кивнул он. – А я вот матч пропустил.

– Ну и славно. Меньше нервов – дольше жизнь. Я вам тут это... – она полезла в авоську, видимо за очередным пирожком, но вдруг замерла, прищурилась и уставилась куда-то вглубь парка. – Ой, а это что там такое? Гляньте-ка, Павлович. Там, у старой беседки. Никак ребёнок?

– Какой ещё ребёнок в такое время? Может, показалось? У вас очки есть вообще?

– Очки у меня для чтения, а для дали у меня вера. Идите проверьте, вы ж мужик. Или мужиком только до выхода на пенсию были?

– Вот вы язва, Антонина Захаровна. В церковь ходите, а язык как у базарной торговли.

– Это не язык, это правда. Идите давайте, а то дождь начинается, а у меня платок не казённый.

Евсений вздохнул, поднялся с лавочки и направился к старой беседке. Та стояла на отшибе, покосившаяся, с провалившейся крышей, и днём-то выглядела не очень, а ночью так и вовсе напоминала декорацию к фильму про покойников. Но Антонина не ошиблась – там и правда кто-то сидел. Маленький силуэт, скрюченный, прижавший колени к груди, вжавшийся в угол так, будто хотел слиться с деревом. Дождь усиливался, капли застучали по листве и по остаткам крыши, а силуэт не двигался.

– Эй, – негромко позвал Евсений, подходя ближе и стараясь не делать резких движений.
– Ты чего тут сидишь? Ночь на дворе. Тут волки, может, ходят. Или что похуже – участковый.

Силуэт поднял голову. Девочка. Лет девяти-десяти, не больше. Волосы тёмные, мокрые, прилипли к лицу. Курточка тонкая, совсем не по погоде, джинсы грязные, кроссовки – дыра на правом носке. На коленях – мятый листок бумаги, в руке – огрызок белого мела. Она смотрела на него молча, без страха, но и без надежды, будто ждала, что он пройдёт мимо, как проходили все. Евсений вздохнул и полез в карман. Антонина, которая ковыляла следом, уже открыла рот, чтобы прочитать ему лекцию про курение, но он опередил:

– Да не за сигаретами я, успокойтесь. Платок достать хотел. Вам дать или себе?

– Себе, себе. А ребёнку вы лучше руку дайте. И пирожок. Благо у меня ещё остались.

– Опять вчерашние?

– Вчерашние, сегодняшние – какая разница, когда дитё голодное? Вы на неё посмотрите, у неё ж глаза ввалились.

Евсений присел на корточки, стараясь не кряхтеть – получалось плохо, колени давно не те. Девочка не шелохнулась, только сжимала свой мелок, будто это было последнее, что у неё осталось. Он протянул руку – сухую, морщинистую, с жёлтыми от табака пальцами и вечными трещинами на коже.

– Давай знакомиться. Я Евсений Павлович. Это вот – Антонина Захаровна, наш местный божий одуванчик. Пирожки у неё – сам Трамп обзавидует, она тебе потом расскажет. А ты кто? Как зовут?

Она молчала. Смотрела то на него, то на старуху. Потом медленно, неуверенно, покачала головой. И протянула ему не руку – листок. Тот самый, мятый, на котором был нарисован дом вверх ногами и птица с человеческим лицом. Под рисунком, корявым детским почерком, было выведено одно слово: "Ася". Евсений взял листок, всмотрелся в рисунок и кивнул.

– Ася, значит. А говоришь ты, выходит, не очень. Ну, бывает. Я вот тоже с людьми говорить не мастер, меня бывшая жена вам подтвердит, если дозвонитесь.

Антонина Захаровна плюхнулась на край беседки, тяжело опираясь на трость, и достала из авоськи тот самый пакет с пирожками – мокрый от масла, с отпечатками туалетной бумаги.

– На, милая, поешь. Господь велел делиться. И не смотри на меня так, я не сумасшедшая. Вернее, сумасшедшая, но не опасная. А это вон – вообще фотограф. Он тебя сфоткает и душу украдёт. Шучу. Не украдёт. У него плёнка кончилась.

– Не кончилась у меня плёнка, – буркнул Евсений. – И вообще, хватит ребёнка пугать. Сами говорите – дитё голодное, а вы про душу.

Ася взяла пирожок. Держала его в руке, не надкусывая, будто не верила, что он настоящий. Перевела взгляд с пирога на старуху, потом на Евсения. Потом, очень тихо, одними губами, произнесла слово. Евсений не услышал, но увидел по движению губ. "Спасибо". Или ему показалось.

Дождь припустил сильнее. Капли забарабанили по остаткам крыши, по листве, по лужам. Антонина Захаровна поднялась, кряхтя и держась за поясницу.

– Ну всё, Павлович. Я домой. У меня лампадка ещё горит, нельзя оставлять. А вы давайте решайте с ребёнком. Не бросать же её тут. У вас квартира большая, места хватит. А завтра разберёмся, чья она и откуда.

– Как это "у меня квартира большая"? У меня однушка, Антонина Захаровна. Там вдвоём не развернуться.

– Ничего. Зато тепло. И чай есть. И пирожки. Чего ещё надо? Всё, я пошла. Ася, милая, слушайся дедушку. Он вредный, но хороший. Я завтра зайду, проверю.

И Антонина Захаровна заковыляла прочь, стуча тросточкой по мокрой дорожке и что-то бормоча себе под нос – кажется, опять про беса, которого кормят табаком. Евсений остался

вдвоём с девочкой. Дождь шумел. Где-то далеко проехала машина. Он посмотрел на Асю – та сидела, прижимая пирожок к груди, будто котёнка.

– Ну что, Ася, – сказал он наконец, выпрямляясь и чувствуя, как хрустнула спина. – Пошли ко мне. Тут идти пять минут. Чайник поставим. Плед у меня есть, старый, но тёплый. Будешь чай с вареньем? Варенье вишнёвое, без косточек. Я проверял.

Ася подняла на него глаза. Долго смотрела. Потом встала, взяла свой мелок, свой листок и подошла к нему. Маленькая, мокрая, молчаливая. Евсений снял с себя свитер – тот самый, сшитый матерью, протёртый до дыр, – накинул ей на плечи и повёл домой. Дождь всё шёл. Но под свитером было тепло.

Глава 3. Портрет на стене.

Дождь разошёлся не на шутку. Если утром он моросил, будто раздумывал – идти или не идти, – то сейчас, к ночи, он принял окончательное решение и лупил по лужам с такой силой, что пузыри вскакивали и лопались, не успев набраться воздуха. Парк, ещё час назад тихий и умиротворённый, превратился в мокрую чашу, где каждая ветка норовила хлестнуть по лицу, а каждая лужа – оказаться глубже, чем кажется. Евсений шёл быстро, насколько позволяли старые кости и кроссовки на липучках, которые на мокрой дорожке держали не лучше, чем лыжи на асфальте. Ася семенила рядом – маленькая, в его свитере, который свисал до колен и делал её похожей не то на мокрого воробья, не то на огородное пугало, которое забыли снять после сезона. Рукава свитера она даже не пыталась закатать – они болтались где-то в районе щиколоток, и со стороны казалось, что у девочки нет рук, а есть только два шерстяных хобота. Евсений покосился на неё, хотел пошутить про моду, но промолчал – не тот момент.

Дорога от парка до дома занимала минут пять, но под дождём эти пять минут превращались в маленькую вечность. Фонари в посёлке горели через один – местная администрация экономила на электричестве, а может, просто забывала менять лампочки, – так что идти приходилось почти на ощупь. Евсений знал здесь каждую трещину в асфальте, каждый корень, который выпирал из-под земли, каждый поворот, за которым открывался вид на пятиэтажку с облупившейся штукатуркой, но сегодня он шёл медленнее обычного – подстраивался под шаг девочки. Ася не жаловалась, не дёргала его за руку, не показывала, что устала или замёрзла. Она вообще ничего не показывала. Просто шла, уткнувшись взглядом в землю, и изредка поправляла мокрые волосы, которые лезли в глаза.

У подъезда их встретила знакомая картина: облупившаяся дверь, на которой кто-то баллончиком вывел неприличное слово из трёх букв, и домофон, который не работал с девяностых. Евсений толкнул дверь плечом – она поддалась с тем самым противным скрежетом, от которого у нормального человека сводит зубы, а у местных уже выработался иммунитет. В подъезде пахло сыростью, кошками и чьей-то подгоревшей едой. На площадке первого этажа, у батареи, спал бомж по кличке Гриша – местная достопримечательность, которую не трогали, потому что он никому не мешал, а зимой даже подметал лестницу в обмен на мелочь. Сегодня Гриша был в отключке, и только храп, похожий на звук перфоратора, говорил о том, что он жив.

– Это Гриша, – сказал Евсений, кивнув в сторону спящего. – Не бойся, он добрый. Когда трезвый.

Ася посмотрела на Гришу, потом на Евсения, и в её взгляде мелькнуло что-то похожее на интерес – первая эмоция за весь вечер. Впрочем, она тут же погасла, и девочка снова ушла в себя, как улитка в раковину.

Лифт, разумеется, не работал. Табличка "ремонт", приклеенная скотчем к металлической двери, пожелтела и закрутилась по краям, а буква "т" в конце слова "ремонт" кто-то подрисовал маркером, превратив её в "ремонть" с твёрдым знаком – то ли в шутку, то ли из ностальгии по дореволюционной орфографии. Евсений вздохнул и начал подъём. Ступеньки были выщербленные, с выбоинами, в которые он давно научился не попадать ногой – за десять лет жизни в этом доме тело запомнило маршрут лучше, чем голова. Ася поднималась следом, держась за перила, которых в некоторых местах не было вовсе, а в некоторых они болтались так, что лучше бы их тоже не было.

Третий этаж. Площадка. Четыре двери – три закрыты наглухо, из-за одной слышен звук телевизора: кто-то смотрел вечернее ток-шоу, где люди орали друг на друга, выясняя, кто кому изменил и чей ребёнок на самом деле не от мужа. Евсений подошёл к двери под номером пят-

надцать, достал ключ – старый, с бороздками, которые почти стёрлись, – вставил в замочную скважину, повернул. Замок щёлкнул, дверь открылась с тем самым привычным скрипом, который он слышал каждый день уже десять лет, и который для него был чем-то вроде приветствия. "Здравствуй, хозяин. Ты вернулся. Опять один". Но сегодня он вернулся не один.

– Заходи, не бойся. У меня не музей, но чисто. Почти, – добавил он после паузы, вспомнив про пыль на телевизоре и про крошки на кухонном столе.

Ася переступила порог неуверенно, как переступают край обрыва, ещё не зная, есть ли внизу вода или камни. В прихожей горела тусклая лампочка – сорок ватт, не больше, – свисавшая с потолка на перекрученном проводе. Плафона не было: старый треснул ещё в прошлом году, когда Евсений, полезши менять лампочку, поскользнулся на табуретке и задел его локтем. Новый он так и не купил – сначала забыл, потом привык. "Без плафона даже светлее", – сказал он сам себе и больше к этой теме не возвращался. Свет падал прямо на стену, туда, где висел портрет.

И Ася увидела его.

Это был чёрно-белый снимок, напечатанный на матовой бумаге и вставленный в простую деревянную рамку, которую Евсений сам сколотил когда-то давно, ещё в той жизни, где у него были жена, работа на вахте и надежда, что всё наладится. На снимке была женщина. Она сидела за кухонным столом, в руке – чашка с чаем, на лице – лёгкая полуулыбка, будто она только что заметила что-то за окном и вот-вот скажет: "Смотри, птица". Волосы убраны в пучок, на плечах – домашний халат, на столе – клеёнка в цветочек, та самая, которая до сих пор лежала на кухне у Евсения. Он ничего не менял. Клеёнка та же, чашка та же, только женщина – другая. Вернее, никакой.

Ася замерла. Не так, как замирают дети, когда видят что-то интересное. Совсем не так. Она замерла, как замирает человек, который узнал что-то, чего не ждал. Её мокрые волосы прилипли к вискам, с кончика носа свисала капля, которую она не вытирала, а в глазах – серых, больших, – зажёгся странный огонёк. Она смотрела на портрет так, будто видела не просто женщину, а целую историю. Будто читала книгу, которую никто никогда не писал.

Евсений в это время стаскивал мокрые кроссовки. Левый снялся легко, правый застрял на пятке – вечная история, – и он, чертыхаясь про себя, дёргал липучку, пока та наконец не поддалась. Кроссовки он поставил на тряпку у порога, чтобы не натекло в коридор. Пальто повесил на крючок. Оглянулся. Ася всё ещё стояла перед портретом, задрав голову, и молчала.

– Это Люба, – сказал он. Голос прозвучал глухо, будто слова выходили не из горла, а из-под подушки. Он прокашлялся и добавил: – Жена моя. Бывшая. Ушла. Давно уже.

Он замолчал, подбирая слова. Слова подбирались плохо, как осколки разбитой тарелки – вроде и части на месте, а целого не складывается. Ася не оборачивалась. Он продолжил:

– Я тогда на вахте был. Сварщиком. В Сибири. Холодно там, долго, деньги платили хорошие – ну, по тем временам. Думал, заработаю, квартиру купим побольше, может, детей куда свозим, на море или ещё куда. А она... она, видать, устала ждать. Я приезжаю – шкаф пустой. Почти пустой. Вещи свои забрала, детей забрала, а фотографию вот эту оставила. Специально, наверное. Чтобы я помнил, кого потерял. Или чтобы я знал, что терять было что.

Он снова прокашлялся. В горле запершило – то ли от сырости, то ли от того, что говорить о таком вслух было непривычно. Он вообще редко говорил о Любе. Виктору – нет. Антонине – нет. Даже самому себе – нет. А тут вдруг вывалил всё какой-то незнакомой девчонке, которая и ответить-то не может. Может, в этом и было дело. Может, поэтому и вывалил.

– Ты это... проходи на кухню. Чего в дверях стоять. Чайник поставлю. Пирожки ещё есть, Антонина Захаровна дала. Они вчерашние, но есть можно, я проверял – жив пока. А плед я сейчас найду. У меня где-то был клетчатый, ещё мамин. Семидесятых годов, наверное, но тёплый – врать не буду. Ты посиди пока, отогрейся. Вон тапки возьми, они старые, но сухие.

Он ушёл в комнату, оставив Асю в прихожей. В комнате было темно – он не включал свет, потому что знал здесь каждый угол на ощупь. Шкаф открылся с тем же скрипом, что и входная дверь, – видимо, скрип был семейной чертой всей мебели в этой квартире. На верхней полке, за старыми коробками с фотоплёнкой и потрёпанным альбомом, который он не открывал уже лет пять, лежал плед. Клетчатый, красно-зелёный, с бахромой по краям, которая местами распустилась и свисала неровными нитками. Мать вязала его ещё в семидесятых, когда он был пацаном и они жили в бараке на окраине. Плед пах пылью, временем и чем-то ещё – может, нафталином, а может, просто старостью. Евсений встряхнул его, чихнул и вернулся в прихожую.

Ася стояла перед портретом. Но теперь она не просто смотрела – она подняла руку и пальцем, очень осторожно, обводила лицо Любы по стеклу. От лба к подбородку, от подбородка к скуле, от скулы к волосам. Движения были медленные, почти ритуальные, как будто она не просто разглядывала женщину на фотографии, а знакомилась с ней. Палец у неё был тонкий, бледный, с обломанным ногтем и следами мела, который до сих пор не отмылся. Она вела им по стеклу, и на стекле оставался еле заметный след – не грязный, просто влажный, как будто от тёплого дыхания. Евсений замер, не дойдя до неё пары шагов. Смотрел и не мог оторваться.

– Нравится? – спросил он тихо, хотя вопрос был глупый. Разве может нравиться портрет чужой жены, если ты девочка десяти лет, которую нашли ночью в парке?

Ася обернулась. Не резко, не испуганно, а спокойно, будто знала, что он стоит за спиной и смотрит. Их глаза встретились – его, выцветшие серые, и её, серые, но ещё не выцветшие, а только начинающие что-то понимать про этот мир. И в этом взгляде было что-то такое, отчего у Евсения внутри что-то сжалось, а потом, наоборот, ослабло – как будто узел, завязанный много лет назад, вдруг чуть-чуть поддался. Она ничего не сказала – она никогда ничего не говорила, – но он почему-то услышал вопрос. И ответил:

– Да. Скучаю. Иногда звоню. Но лучше бы не звонил – она холодная стала. Или я всегда холодный был. Теперь не разберёшь.

Он протянул ей плед.

– На, закутывайся. И пошли на кухню. Чайник уже, поди, заждался.

Ася взяла плед. Он был тяжёлый, почти с неё размером, и пах так, как пахнут старые вещи – пылью, памятью и ещё чем-то уютным, что нельзя назвать, но можно почувствовать. Она завернулась в него, как в кокон, и пошла следом за Евсением на кухню. А портрет остался висеть в прихожей, освещённый тусклой лампочкой без плафона. Женщина на портрете смотрела куда-то вбок и чуть улыбалась – будто знала что-то, чего не знали они.

На кухне Евсений щёлкнул кнопкой чайника. Чайник был старый, советский, с белым пластиковым корпусом, который когда-то был белым, а теперь стал желтоватым, как зубы курильщика. Кнопка западала, и он придерживал её пальцем, пока вода не начинала нагреваться. Ася села на табуретку, поджав под себя ноги и закутавшись в плед так, что из-под него торчали только глаза и нос. На столе перед ней стояла тарелка с пирожками, банка вишнёвого варенья и две кружки – одна с трещиной, другая без. Евсений машинально взял себе ту, что с трещиной.

– Значит так, Ася, – сказал он, разливая кипяток по кружкам. – Дела у нас с тобой такие. Сейчас пьём чай. Потом ты спишь. Я тебе на диване постелю, подушка есть, одеяло найдём. Завтра будем думать, что дальше. Кто ты, откуда, где родители. Может, в полицию позвоним. Или сначала Антонину Захаровну спросим – она про всех в посёлке знает, даже про тех, кто ещё не родился. А может, ты сама что-то расскажешь. Или нарисуешь. Ты ж рисуешь? Я видел, у тебя мел был. И листок.

Ася кивнула. Медленно, едва заметно, но кивнула. Он поставил перед ней кружку с чаем и подвинул банку с вареньем.

– Варенье вишнёвое. Без косточек. Я проверял. Ну, в смысле, ложкой проверял, не пальцем.

Ася опустила голову, и ему показалось, что уголки её губ чуть-чуть дрогнули. Не улыбка, но намёк на неё. Он взял свою кружку, отпил чай – горячий, обжигающий, – и замолчал. За окном шумел дождь. В прихожей висел портрет. В кухне горел свет, и два человека – старик и девочка – сидели друг напротив друга, пили чай и молчали. И в этом молчании было больше слов, чем во всех разговорах, которые Евсений Павлович вёл за последние десять с лишним лет .

Глава 4. Дверь открывается.

Дождь разошёлся не на шутку. Если утром он моросил, будто раздумывал – идти или не идти, – то сейчас, к ночи, он принял окончательное решение и лупил по лужам с такой силой, что пузыри вскакивали и лопались, не успев набраться воздуха. Парк, ещё час назад тихий и умиротворённый, превратился в мокрую чашу, где каждая ветка норовила хлестнуть по лицу, а каждая лужа – оказаться глубже, чем кажется. Евсений шёл быстро, насколько позволяли старые кости и кроссовки на липучках, которые на мокрой дорожке держали не лучше, чем лыжи на асфальте. Ася семенила рядом – маленькая, в его свитере, который свисал до колен и делал её похожей не то на мокрого воробья, не то на огородное пугало, которое забыли снять после сезона. Рукава свитера она даже не пыталась закатать – они болтались где-то в районе щиколоток, и со стороны казалось, что у девочки нет рук, а есть только два шерстяных хобота. Евсений покосился на неё, хотел пошутить про моду, но промолчал – не тот момент.

Дорога от парка до дома занимала минут пять, но под дождём эти пять минут превращались в маленькую вечность. Фонари в посёлке горели через один – местная администрация экономила на электричестве, а может, просто забывала менять лампочки, – так что идти приходилось почти на ощупь. Евсений знал здесь каждую трещину в асфальте, каждый корень, который выпирал из-под земли, каждый поворот, за которым открывался вид на пятиэтажку с облупившейся штукатуркой, но сегодня он шёл медленнее обычного – подстраивался под шаг девочки. Ася не жаловалась, не дёргала его за руку, не показывала, что устала или замёрзла. Она вообще ничего не показывала. Просто шла, уткнувшись взглядом в землю, и изредка поправляла мокрые волосы, которые лезли в глаза.

У подъезда их встретила знакомая картина: облупившаяся дверь, на которой кто-то баллончиком вывел слово из трёх букв, и домофон, который не работал с девяностых. Евсений толкнул дверь плечом – она поддалась с тем самым противным скрежетом, от которого у нормального человека сводит зубы, а у местных уже выработался иммунитет. В подъезде пахло сыростью, кошками и чьей-то подгоревшей едой. На площадке первого этажа, у батареи, спал бомж по кличке Гриша – местная достопримечательность, которую не трогали, потому что он никому не мешал, а зимой даже подметал лестницу в обмен на мелочь. Сегодня Гриша был в отключке, и только храп, похожий на звук перфоратора, говорил о том, что он жив.

– Это Гриша, – сказал Евсений, кивнув в сторону спящего. – Не бойся, он добрый. Когда трезвый.

Ася посмотрела на Гришу, потом на Евсения, и в её взгляде мелькнуло что-то похожее на интерес – первая эмоция за весь вечер. Впрочем, она тут же погасла, и девочка снова ушла в себя, как улитка в раковину.

Лифт, разумеется, не работал. Табличка «ремонт», приклеенная скотчем к металлической двери, пожелтела и закрутилась по краям, а букву «т» в конце кто-то подрисовал маркером, превратив её в «ремонтъ» с твёрдым знаком – то ли в шутку, то ли из ностальгии по дореволюционной орфографии. Евсений вздохнул и начал подъём. Ступеньки были выщербленные, с выбоинами, в которые он давно научился не попадать ногой – за десять лет жизни в этом доме тело запомнило маршрут лучше, чем голова. Ася поднималась следом, держась за перила, которых в некоторых местах не было вовсе, а в некоторых они болтались так, что лучше бы их тоже не было.

Третий этаж. Площадка. Четыре двери – три закрыты наглухо, из-за одной слышен звук телевизора: кто-то смотрел вечернее ток-шоу, где люди орали друг на друга, выясняя, кто кому изменил и чей ребёнок на самом деле не от мужа. Евсений подошёл к двери под номером пятнадцать, достал ключ – старый, с бороздками, которые почти стёрлись, – вставил в замочную

скважину, повернул. Замок щёлкнул, дверь открылась с тем самым привычным скрипом, который он слышал каждый день уже десять лет и который для него был чем-то вроде приветствия. «Здравствуй, хозяин. Ты вернулся. Опять один». Но сегодня он вернулся не один.

– Заходи, не бойся. У меня не музей, но чисто. Почти, – добавил он после паузы, вспомнив про пыль на телевизоре и про крошки на кухонном столе.

Ася переступила порог неуверенно, как переступают край обрыва, ещё не зная, есть ли внизу вода или камни. В прихожей горела тусклая лампочка – сорок ватт, не больше, – свисавшая с потолка на перекрученном проводе. Плафона не было: старый треснул ещё в прошлом году, когда Евсений, полезши менять лампочку, поскользнулся на табуретке и задел его локтем. Новый он так и не купил – сначала забыл, потом привык. «Без плафона даже светлее», – сказал он сам себе и больше к этой теме не возвращался. Свет падал прямо на стену, туда, где висел портрет.

И Ася увидела его.

Это был чёрно-белый снимок, напечатанный на матовой бумаге и вставленный в простую деревянную рамку, которую Евсений сам сколотил когда-то давно, ещё в той жизни, где у него были жена, работа на вахте и надежда, что всё наладится. На снимке была женщина. Она сидела за кухонным столом, в руке – чашка с чаем, на лице – лёгкая полуулыбка, будто она только что заметила что-то за окном и вот-вот скажет: «Смотри, птица». Волосы убраны в пучок, на плечах – домашний халат, на столе – клеёнка в цветочек, та самая, которая до сих пор лежала на кухне у Евсения. Он ничего не менял. Клеёнка та же, чашка та же, только женщина – другая. Вернее, никакой.

Ася замерла. Не так, как замирают дети, когда видят что-то интересное. Совсем не так. Она замерла, как замирает человек, который узнал что-то, чего не ждал. Её мокрые волосы прилипли к вискам, с кончика носа свисала капля, которую она не вытирала, а в глазах – серых, больших, – зажёгся странный огонёк. Она смотрела на портрет так, будто видела не просто женщину, а целую историю. Будто читала книгу, которую никто никогда не писал.

Евсений в это время стаскивал мокрые кроссовки. Левый снялся легко, правый застрял на пятке – вечная история, – и он, чертыхаясь про себя, дёргал липучку, пока та наконец не поддалась. Кроссовки он поставил на тряпку у порога, чтобы не натекло в коридор. Пальто повесил на крючок. Оглянулся. Ася всё ещё стояла перед портретом, задрал голову, и молчала.

– Это Люба, – сказал он. Голос прозвучал глухо, будто слова выходили не из горла, а из-под подушки. Он прокашлялся и добавил: – Жена моя. Бывшая. Ушла. Давно уже.

Он замолчал, подбирая слова. Слова подбирались плохо, как осколки разбитой тарелки – вроде и части на месте, а целого не складывается. Ася не оборачивалась. Он продолжил:

– Я тогда на вахте был. Сварщиком. В Сибири. Холодно там, долго, деньги платили хорошие – ну, по тем временам. Думал, заработаю, квартиру купим побольше, может, детей куда свозим, на море или ещё куда. А она... она, видать, устала ждать. Я приезжаю – шкаф пустой. Почти пустой. Вещи свои забрала, детей забрала, а фотографию вот эту оставила. Специально, наверное. Чтобы я помнил, кого потерял. Или чтобы я знал, что терять было что.

Он снова прокашлялся. В горле запершило – то ли от сырости, то ли от того, что говорить о таком вслух было непривычно. Он вообще редко говорил о Любе. Виктору – нет. Антонине – нет. Даже самому себе – нет. А тут вдруг вывалил всё какой-то незнакомой девчонке, которая и ответить-то не может. Может, в этом и было дело. Может, поэтому и вывалил.

– Ты это... проходи на кухню. Чего в дверях стоять. Чайник поставлю. Пирожки ещё есть, Антонина Захаровна дала. Они вчерашние, но есть можно, я проверял – жив пока. А плед я сейчас найду. У меня где-то был клетчатый, ещё мамин. Семидесятых годов, наверное, но тёплый – врать не буду. Ты посиди пока, отогрейся. Вон тапки возьми, они старые, но сухие.

Он ушёл в комнату, оставив Асю в прихожей. В комнате было темно – он не включал свет, потому что знал здесь каждый угол на ощупь. Шкаф открылся с тем же скрипом, что

и входная дверь, – видимо, скрип был фамильной чертой всей мебели в этой квартире. На верхней полке, за старыми коробками с фотоплёнкой и потрёпанным альбомом, который он не открывал уже лет пять, лежал плед. Клетчатый, красно-зелёный, с бахромой по краям, которая местами распустилась и свисала неровными нитками. Мать вязала его ещё в семидесятых, когда он был пацаном и они жили в бараке на окраине. Плед пах пылью, временем и чем-то ещё – может, нафталином, а может, просто старостью. Евсений встряхнул его, чихнул и вернулся в прихожую.

Ася стояла перед портретом. Но теперь она не просто смотрела – она подняла руку и пальцем, очень осторожно, обводила лицо Любы по стеклу. От лба к подбородку, от подбородка к скуле, от скулы к волосам. Движения были медленные, почти ритуальные, как будто она не просто разглядывала женщину на фотографии, а знакомилась с ней. Палец у неё был тонкий, бледный, с обломанным ногтем и следами мела, который до сих пор не отмылся. Она вела им по стеклу, и на стекле оставался еле заметный след – не грязный, просто влажный, как будто от тёплого дыхания. Евсений замер, не дойдя до неё пары шагов. Смотрел и не мог оторваться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.